

Рената Шпрунг  
Кто посягает на мой народ...



Рената Шпрунг

# Кто посягает на мой народ...

Еврейские судьбы  
в XVIII-XX веках



Sprung, Renate  
Wer mein Volk antastet...  
Original edition © 1988 by Verlag  
der St.-Johannis-Druckerei, Lahr-Dinglingen

Russian edition copyright © 1992 Licht im Osten, Korntal

Шпрунг Рената  
Кто посягает на мой народ...  
Перевод с немецкого Д. Щедровицкого  
© 1992 Издательство «Свет на Востоке», Корнталь

## Содержание

Как реб Шлойме получил свое немецкое имя .....	7
Пальто .....	15
Знающие не говорят... ..	24
«Слушай, Израиль...» .....	30
Ночь без звезд .....	43
Руфь .....	51
Во имя народа .....	57
Саид Мариб, старый египтянин .....	66

## Как реб Шлойме получил свое немецкое имя

В XI-XIII веках, спасаясь от погромов, вызванных крестовыми походами, много евреев покинуло Германию. Перебирались они в основном в Галицию<sup>1</sup>, где оседали главным образом в небольших провинциальных городках. Но опасность нападений со стороны христианского населения сохранялась и здесь. Этому способствовали постоянно распространявшиеся слухи, которые приписывали евреям причастность к колдовству, насыланию чумы, богохульству и ритуальным убийствам. Чтобы защитить свои кварталы, так называемые гетто, еврейские общины создавали органы самоуправления, которые решали все внутренние и внешние вопросы, а также выплачивали налоги церкви и государству, давали взятки с целью предотвращения погромов, заложив за разрешение торговать, ремесленные и брачные налоги. К 1772 году, когда Галиция, в результате раздела Речи Посполитой, была присоединена к Габсбургской империи, еврейское меньшинство представляло собой замкнутый мир со своей собственной религией, своим языком и образом жизни. В 1785 году, в связи с реформами императора Иосифа II, права еврейских общин были отменены. Объяснялось это необходимостью устранить все различия между евреями и неевреями. Чтобы упростить офици-

альный учет, например, при отборе на военную службу, соответствующим указом всем евреям было вменено в обязанность взять христианские фамилии. Государственные чиновники, особенно мелкие, неплохо на этом наживались. За большую взятку можно было выбрать красивую фамилию, ну а кто был беден...

Раввин Чорткова<sup>2</sup> Менделе Зильберштайн с откровенным сожалением пожал плечами:

– Я совсем ничего не могу вам одолжить, кошелек пуст. Большая семья, много детей, да и фамилия кое-чего стоила – вы же понимаете, реб Шлойме. Бог – свидетель, я бы отдал вам последний крейцер. Вы не первый, кто меня просит, и я помогал, пока мог, но теперь... – И благочестивый хасид<sup>3</sup> в подтверждение своих слов показал пустые руки. Потом он спрятал их в рукава своего длинного кафтана, прошелся несколько раз по комнате, и, когда заговорил снова, голос его звучал тихо и проникновенно: – Господь испытывает Свой народ. Разве может кто-нибудь противиться воле Его? Но настанет день, когда снимет Он это бремя с плеч наших и признает Израиль народом Своим. А пока мы должны страдать и терпеть, как предсказывал пророк Его Моисей: рассеянные по всем землям, ненавидимые и преследуемые во всех народах. Но предсказано также в утешение: соберет Он нас от всех народов и приведет нас в землю, которою владели отцы наши. Благословен Господь, Бог наш!

Видя, что после этой речи реб Шлойме

окончательно пал духом, Менделе Зильберштайн попытался его утешить:

– Что значит, реб Шлойме, христианское имя? Это всего лишь пустой звук, дым. Он развеется, как все в этом мире.

«Боже милосердный, – бормотал несчастный, медленно шагая извилистыми улочками гетто, – какой же это пустой звук, какой же это дым? Да я с моим потомством сделаюсь через это посмешищем на вечные времена! Конечно, раввину, как и другим богачам, новое имя только прибавит чести. Подумать только: Зильберштайн, Абендрот, Диамант, Моргенштерн, Гольдберг, Таубе, Маршалл, Перле, Розенталь, Мандельбаум<sup>4</sup>... Какое благородное звучание, какая возвышенность и поэтичность!»

«Сегодня я должен туда пойти, – продолжал он размышлять, – сегодня последний срок. И лотерея не помогла, а я, прости меня, Господи, так надеялся на чудо. Я и в синагогу всегда регулярно ходил... Смилуйся над грешным, Господь воинств<sup>5</sup>, развеи в прах то, чему не место на земле, и порази притеснителей моих!» Он в испуге остановился и зажал рот рукой. Нет-нет, он вовсе так не думал. Да и окружной начальник здесь ни при чем. Вот только два писаря, которых он послал...

Реб Шлойме свернул в немощеный переулок, в котором теснились деревянные домишки и глиняные мазанки. Здесь, в восточной части гетто, обитало бедное еврейское население. «О, проклятая нищета», – простонал он при виде собст-



венного жилища, на пороге которого его поджидала жена Розеле. Реб Шлойме был сапожником. Но богатые клиенты пользовались услугами реба Мойше, который жил на одной из мощеных улиц. Бедняки же, которые обращались к нему, не только плохо платили, если это делали вообще, но зачастую носили свою обувь до тех пор, пока она не разваливалась у них прямо на ногах, так что часто лишали реба Шлойме возможности заработать на ее ремонте.

– Пришел наконец? – встретила его Розеле упреком. – Писарь уже посылал за тобой. Он гневался и велел передать: «Грязный еврей должен явиться немедленно!» Ему нужно сегодня вечером привезти списки окружному начальнику. Второй писарь уехал еще вчера. Ты достал деньги? – последовал главный вопрос.

Он покачал головой и прошел в комнату. За столом на деревянных лавках сидели его семеро детей. Четыре мальчика: Борух, Элезер, Йосселе и Гдалье. И девочки: Генендель, Рахиль и Ривке.

– Остальные уже были там? – спросил реб Шлойме тихо.

Розеле кивнула:

– Он требовал гульдены, а у них не было даже крейцера. Тогда он рассвирепел и сам придумал им фамилии. Теперь реб Мортхе – Гуркензалат, реб Шойелль – Пульвербештандтайль, реб Цодек – Тюркишгельб, а реб Хушем – Хонигкухенпферд<sup>6</sup>.

– Вся детвора смеялась над их детьми и дразнила новыми фамилиями, – плаксиво пропищала

маленькая Ривке, на что Борух, самый старший, возразил, правда, не очень уверенным голосом:

– Господин отец не захочет, чтобы над нами тоже смеялись.

Реб Шлойме приласкал детей, перепоясал кафтан и отправился в правление общины.

Обрушив на беднягу целый поток упреков, общинный писарь, реб Трайтл, провел его в служебную комнату, где за деревянным барьером восседал большой, толстый лысый господин и с недовольным видом перебирал бумаги, в беспорядке лежавшие на письменном столе.

– Ваша милость, – обратился к нему Трайтл тихим, вежливым голосом, поклонившись на почтительном расстоянии, – пришел реб Шлойме.

– А-а, соизволил! – чиновник буквально вскипел от злости. Его лицо и шея налились кровью. – Что себе воображает этот грязный еврей? Чтоб его чума побрала вместе с его вонючим кафтаном!

Реб Шлойме в испуге не сводил глаз с губ всемогущего, а тот, постепенно успокаиваясь, оценивал его краем глаза.

– У него есть гульдены? – спросил писарь грубо, но уже спокойнее. – За двадцать гульденов он может называться Грюном, или Глазером, или, если добавит еще пять гульденов, Блюменталем<sup>7</sup>. Такой фамилии здесь еще ни у кого нет.

Видя, что реб Шлойме молчит, он нетерпеливо продолжал:

– За пятнадцать гульденов: Швертбаумом, Визенблюмом или Биркенхайном<sup>8</sup>.

Чиновник выжидающе замолчал, поковырял зубочисткой в зубах, громко рыгнул и в его голосе снова стала слышна злоба:

– Итак, дальше. За десять гульденов...

Шлойме осторожно покашлял, чтобы обратить на себя внимание грозного господина, но тот продолжал:

– ...он может выбрать себе одну из следующих четырех фамилий: Цимбелшпилер, Гайгенбауэр, Тухмахер или Глатайс<sup>9</sup>.

– У меня нет ни единого крейцера, – наконец отважился вставить реб Шлойме. – Семеро голодных детей, Ваша милость...

На этот раз лицо чиновника стало не багровым, а фиолетовым.

– Заткни пасть, нищий жид! – взревел он, перебив сапожника на полуслове, и хватил кулаком по столу. – Я тут перед ним распинаюсь, трачу свое время, а у него, оказывается, ничего нет, совсем ничего. Какая наглость! Негодяй! Мерзавец!

– Ваша милость, ваша милость, – лепетал реб Шлойме, часто кланяясь. Его руки были влажными от страха и дрожали. – Я не виноват. Все эти дни я искал деньги, я стучался во все двери и унижался за пару гульденов так, как еще никогда в жизни не унижался. Простите, ваша милость, пощадите...

С трудом переводя дыхание, всемогущий вытирал капли пота со лба и лысины. И тут несчастный сапожник, набрав побольше воздуха и призвав на помощь все свое мужество, выпалил:

– Ваша милость, осмеливаюсь вас покорнейше просить: дайте мне какую-нибудь порядочную фамилию, которую не стыдно было бы носить!

Вены на висках чиновника угрожающе вздулись, но прежде, чем новые проклятия обрушились на голову реба Шлойме, открылась дверь, и в комнату вошла жена общинного писаря Шейндл, неся перед собой серебряный поднос. Почтительно сделав книксен, она приблизилась к письменному столу:

– Прошу перекусить, ваша милость.

Женщина поставила поднос и бесшумно удалилась. На нем между большой чашкой чая и графином водки красовался пышный и соблазнительно пахнувший вишневый пирог. Волшебный аромат разлился в воздухе, и только что готовый разразиться бранью чиновник неожиданно начал хохотать, задыхаясь, кашляя и хватаясь руками за живот.

– Ха! Ха! Ха! Есть, нашел! – выдавил он наконец, с трудом успокаиваясь.

Потом обмакнул перо в чернильницу и вывел в последней свободной строке списка жителей Чорткова: Соломон Киршкухен<sup>10</sup>. Довольный, он откинулся на спинку стула и презрительно махнул рукой, словно отгоняя надоедливое насекомое:

– Теперь пусть этот дурак убирается отсюда и что хочет, то и делает со своей новой фамилией!

Спотыкаясь и часто кланяясь, реб Шлойме попятился к двери. Борода его дрожала, глаза

были полны слез и ничего не видели. Он думал о своих детях... С опущенной головой брел несчастный еврей по узким, грязным переулкам гетто и бормотал трясущимися губами:

– Вот как Ты покарал меня, Господи. Сделал посмешищем для людей и меня, и потомство мое. Прости, Боже, что мне так тяжело вынести это!.. Все, что происходит с нами, происходит по Твоей воле. Будь благословен, Господь, Бог Израиля, Создатель неба и земли!

## Пальто

Пальто – вещь совершенно обычная, и спорить об этом никто не станет. Оно есть у каждого, и надевают его в холодную погоду. Причем для людей разумных, которые считают, что пальто должно прежде всего защищать от сырости и мороза, его цвет, покрой и прочее играют второстепенную роль. Но когда человек молод, он неразумен. Ему, убежденному в своей исключительности и неповторимости, хочется с помощью одежды выделиться из общей массы людей, обратить на себя внимание других. Но бывает, что пальто может спасти человека, и не только от холода.

Зимы в Старжинках всегда были холодными, но та, сорокового – сорок первого года, была особенно морозная, и снегу лежало не меньше метрового слоя. В ту зиму должно было, наконец, исполниться мое желание – новое пальто.

Разумеется, речь не о тех толстых ватных пальто, которые изменяют человеческую фигуру до неузнаваемости и которые мы надевали в самые трескучие морозы, – тут уж никуда нельзя было деться. Но были еще ненавистные зеленые пальто из грубошерстного непромокаемого сукна. Это «чудо» портновского искусства с широким отстегивающимся капюшоном, с болтающейся на спине складкой и узким стеганым поясом предназначалось на все случаи жизни, и с

определенного возраста человек начинал его ненавидеть.

Эти пальто были «счастливой идеей» нашего отца, который, будучи сельским жителем, испытывал страсть ко всему зеленому. Но, конечно, решающее значение здесь имело то, что этому материалу практически не было износу. Сколько я себя помню, большой рулон его, завернутый в белую льняную материю, лежал у нас в кладовке, и отцу надо было лишь раз в два года раскошелиться, чтобы сшить мне, самой старшей из его пятерых детей, новое пальто, которое потом в течение десяти лет донашивали по очереди остальные дети.

Этот привычный порядок был нарушен – и в первую очередь благодаря моей матери, ее умению уговаривать, – когда я получила повестку на курсы медсестер в Лодзь.

– Что подумает начальница курсов, когда наша дочь придет туда, как зеленый кузнечик?! – сказала она, и к этому аргументу нечего было добавить. – Я уже договорилась насчет ткани и выкройки. По знакомству и с большим трудом достала коричневую ткань в елочку, как сейчас носят немецкие дамы. К ней подойдет коричневая мужская шляпа, которую потом, когда она выйдет из моды, сможет носить Ахим. Сегодня у нас пятнадцатое, значит, самое позднее – тридцатого пальто должно быть готово, и первого февраля она может поехать в нем в Лодзь.

Замечание отца, что это невозможно, ее не смутило:

– Возьмешь кусок ветчины, кусок сала и петуха, тогда все получится.

Расчет был верен. Портной, которому мы поручили работу, был евреем, а немецкие власти запретили продавать евреям мясо и вообще что-нибудь мясное. Да и из остальных продуктов они могли покупать только то, что оставалось после немцев и поляков. Евреи были поставлены вне закона. Их имена были вычеркнуты из регистрационных книг, и они перестали существовать в обществе как люди, хотя и жили среди нас.

Отец не хотел нарушать домашнего мира, и поэтому ему не оставалось ничего иного, как выполнить, хоть и не без протестов, желание матери.

На следующее утро, когда Зигмунд впрягал двух гнедых в сани, порывистый северо-восточный ветер гнал мелкую снежную крупу.

– Вьюги не будет, – объявил старый управляющий Ковальский, посмотрев взглядом знатока на небо и почесав чубуком трубки затылок, так что черная барашковая шапка съехала ему на глаза, – но заносы на дороге все же могут быть. Зигмунд, захвати лопату на случай, если где-то застрянете.

Мы с отцом закутались в одеяла, засунули ноги в меховые мешки, нагретые бутылками с горячей водой, и сани тронулись. До Паженшева, куда мы направлялись, было всего пятнадцать километров, но, не проехав и полпути, нам пришлось сделать незапланированную остановку. Поворачивая на Озорков, мы въехали в занос.



Сани опрокинулись, и мы с отцом, описав в воздухе плавную дугу, приземлились в огромном, в человеческий рост, сугробе.

– Проклятое невезение, – прокряхтел отец, с трудом вылезая из сугроба и, помогая выбраться мне, добавил еще несколько крепких слов по поводу пальто и некоторых людей, которым разные глупые идеи приходят в голову в самое неподходящее время. С лошадьми, на счастье, ничего не случилось. Они только застряли по брюхо в снегу, и Зигмунду пришлось их откапывать, прежде чем мы смогли продолжить наш путь. Это приключение было дурной приметой!

Паженшев был совсем маленьким городишком, где имелось с полдюжины магазинов, несколько ремесленных мастерских и жило очень много евреев. Когда мы туда приехали, нас удивила непривычная тишина: улицы, на которых всегда царило оживление, были почти безлюдны. Чуть позже, когда седобородый портной, часто кланяясь, провел нас в свою мастерскую, где работал вместе со своими четырьмя сыновьями, мы узнали, в чем дело.

– Эсэсовцы провели депортацию, – сказал он, нервно теребя свисающие до подбородка пейсы. И, помолчав немного, с горечью добавил: – А мы-то думали, что Паженшев не тронут, ведь уже несколько месяцев прошло, как всех евреев из окрестных деревень переселили в городские гетто.

Снимая мерку, он рассказал, что каждому разрешили взять с собой лишь то, что он сам мог

унести, и погнали пешком в округ. Дома, магазины и мастерские депортированных евреев, а также конфискованные у них ценные вещи и мебель передали фольксдойчам, немецким переселенцам и полякам. Для его семьи сделали исключение, потому что надо обшивать немецких господ из управления и полиции.

Жена хозяина принесла горячий чай и, когда они пили, тихо сказала:

– Поляки нас не любят. К тому же им выгодно, что евреев выселяют. Дочка слышала от соседки, что они и наше имущество уже поделили между собой.

– Глупцы, – сокрушенно качая головой, произнес старый еврей, – они не хотят понять, что их дома и земля, все, что они считают своим, уже давно им не принадлежит. Теперь это собственность земельного опекунского комитета, и они сами будут точно так же выселены, как только найдутся желающие получить их добро фольксдойчи или немецкие переселенцы.

Он горько улыбнулся, а мы не знали, что ответить.

– Вот свиньи, – сказал отец в санях по дороге домой, но тут же, покачав головой, поправился: – Нет, свиньи на такое не способны. Изверги они, нелюди. А ты забудь, что я сказал.

Через неделю мы съездили на примерку, а 29 января отправились получать готовое пальто. Снег перестал, и стало еще холоднее, так что наше дыхание застывало в ледяном воздухе маленькими белыми облачками. То падение в

сугроб, истолкованное мною как дурная примета, я уже давно забыла, и поэтому все, что произошло дальше, было для меня полной неожиданностью.

Как обычно, мастер встретил нас у двери и со всеми знаками почтения провел в мастерскую. Но что-то изменилось, что-то на этот раз было не так, хотя на первый взгляд казалось, что все – как всегда. Сыновья занимались обычной работой: шили, кроили, один накалял утюг на пламенеющих угольках. Когда мы вошли, они повернули в нашу сторону свои темноволосые, кудрявые головы, но не раздалось ни одного привычного веселого приветствия, не промелькнуло ни одной улыбки. Их губы оставались немые, а круглые, карие глаза смотрели озабоченно и подавленно. Мы сразу подумали, что, наверное, пришла их очередь разделить участь остальных евреев. Мы в недоумении смотрели то на одного, то на другого, пока наши глаза не остановились на красивой, светловолосой и светлоглазой Рахили, их сестре, которая отрешенно сидела в углу, глядя прямо перед собой заплаканными глазами. Ее муж, профессор Краковского университета, не вернулся из Англии, куда он поехал читать лекции до начала войны, и с тех пор они только переписывались. Когда родных мужа, у которых Рахиль жила эти полтора года, депортировали в Варшавское гетто, ей чудом удалось спастись и пробраться к отцу в Паженшев. Она пришла прошлой ночью совсем измученная.

Прежде чем отец успел что-нибудь спросить,

мастер принес мое пальто. Надев его, я подошла к зеркалу и застыла – на меня смотрела незнакомая элегантная молодая дама с прекрасной фигурой. Казалось, даже лицо мое изменилось. Еврейские портные всегда славились как настоящие мастера своего дела, а это пальто было просто шедевром искусства. От радости мне казалось, что я сейчас взлечу. Словно издалека, доносились до меня восторженные восклицания. Но тут мой взгляд упал на залитое слезами лицо Рахили. Голоса смолкли, головы опять склонились над работой, и только старый мастер в черной ермолке смотрел на меня грустными глазами побитой собаки. В них были боль, страх, отчаяние и слабая надежда. Никогда еще никто так на меня не смотрел.

– Прошу вас, паненка, пожалуйста... – говорить ему было невыносимо тяжело. Он опустил голову, прижал руки к груди, и голос его стал совсем тихим. Я слушала этого старого человека, чьи слова мгновенно разорвали пелену моего очарования, и передо мной открылся совершенно незнакомый, чужой мир, о беспощадной жестокости которого мой отец и не догадывался. Из длинной и сбивчивой речи мастера, в продолжение которой никто не смел поднять на нас глаз, я поняла, что ему нужно пальто, мое пальто, хотя прямо он этого и не сказал. Пока еще не сказал. Он говорил, что мудрый раввин успел перед тем, как его угнали в гетто, подготовить их к смерти. Что ему был вещий сон, по которому выходит, что они погибнут, если только не про-

изойдет чудо. Что они хотят только одного – чтобы Рахиль спаслась и попала к мужу в Лондон. Самое трудное – добраться до Позена<sup>11</sup>, где ее ждут английские документы. А уж там надежный человек из немцев встретил бы и отвез ее в Данциг<sup>12</sup>, а оттуда на рыбацкой шхуне ее переправили бы в Швецию. Все это стоило целого состояния, но у них кое-что осталось, чтобы хорошо отблагодарить нас. Он обещал сшить мне новое пальто в течение недели. Нам нужно было бы только принести материал, потому что сам он без разрешения не может покидать Паженшев, а его поставщики из Лодзи давно уже отправлены в гетто, и имущество их конфисковано. У них же пока отсрочка на четверть года, чтобы выполнить заказы господ из СС, управы и полиции.

Я слышала это словно сквозь туман, и лишь при его последних словах, которые он произнес дрожащим голосом, чуть не плача, мне стала ясна вся чудовищность требуемой от меня жертвы:

– Пожалуйста, пан, пожалуйста, паненка, будьте милосердны и спасите жизнь Рахили. Многие немецкие дамы носят коричневые пальто в елочку, этот материал продается только немцам. В таком пальто никто не станет проверять у Рахили документы. К тому же она блондинка и глаза – серые. Один поляк отвезет ее на вокзал и купит билет до Позена. Он много потребовал за это, ну да ладно. Бог даст, мы будем жить в детях Рахили. Пожалуйста, пан, паненка, я прошу вас, ради Бога...

По дороге домой отец смущенно пробормотал:

– Мать поймет это. Наверняка поймет.

А потом обратился ко мне, пытаясь утешить:

– Мы сошьем тебе другое пальто – и, в конце концов, наш зеленый материал тоже не такой уж плохой...

Но это было слабое утешение, и я еще долго не могла смириться с той жертвой, которая от меня потребовалась. Потому что одно дело – читать и слышать заповедь, возвещенную однажды Моисеем израильскому народу и повторенную спустя тысячелетия Иисусом Христом: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя», и совсем другое – следовать ей.

## Знающие не говорят...

– Они опять идут, – сказал брат, и мы притаились у открытой балконной двери, откуда можно было незаметно наблюдать за улицей. По правде сказать, это была не улица, а просто проселочная дорога, превращавшаяся в непогоду в настоящее болото. Она тянулась на два километра – из города до нашего имения – мимо хуторов и полуразрушенных стен еврейского кладбища, окруженного тополями, в растрепанных ветром кронах которых устроили свои гнезда сычи и вороны.

Наш отец был одинаково далек и от христианства, и от нацистских взглядов. Партийный билет он получил одновременно с местом в опекуновском комитете Восточного Вартегау<sup>13</sup>, куда его направили на основании его образования, но все-таки прежде всего из-за нехватки соответствующих специалистов. Отец ненавидел бесплодные дискуссии и любил покой, но этот покой нарушался уже третью ночь подряд, несмотря на все его дипломатические способности.

Виной тому была его фамилия. В нашем не таком уж большом городе было много семей с фамилией Хирш, наверное, около двадцати. После каждого дождя над дверями разных магазинчиков и мастерских проступали их фамилии, закрашиваемые новыми немецкими владельцами. В ноябре 1939 года отец заказал себе в ателье Хирша теплое ватное пальто на зиму, так

как приходилось много ездить по служебным делам в открытых санях. Тогда еще не было официально запрещено делать заказы у евреев, и узнав его фамилию, как потом выяснилось, приняли за своего, за еврея, которому удалось устроиться под крылышком оккупационных властей.

Два раза он их уже отсылал, но они пришли снова. В темноте безлунной ночи мы не могли их видеть и только слышали приближающееся бормотание, похожее на шум ручья, текущего через плотину.

– Молятся, – прошептал брат.

– Думаешь?

– Точно.

Когда они проходили под самым балконом и заворачивали во двор, на их кафтанах, на груди и спине, были заметны желтые звезды с надписью «еврей». Первым шел мужчина с длинной седой бородой и такими же пейсами.

Это был глава еврейской общины, бывший аптекарь Исраэль Треппенгелендер<sup>14</sup> – его предкам не повезло, когда в конце XVIII века Галиция была присоединена к Габсбургской империи и вышел указ, обязывающий всех евреев принять немецкие фамилии. Евреи жили теперь в старых, полуразвалившихся домах в городском гетто, куда свозили их из окрестностей, так что несчастных там собралось, как сельдей в бочке. Покидать гетто было запрещено, но охранники, которые должны были следить за ними, предпочитали проводить время за игрой в карты в



караульном помещении. Когда утром, после первого посещения, мы спросили отца, зачем приходили ночные гости, он ответил уклончиво. Мол, это не наше дело, нам бы лучше заняться, наконец, учебой, а не шпионить за ним. И вообще, дети должны ночью спать, и точка!

Как и в обе предыдущие ночи, мы прижали уши к полу – кабинет отца находился прямо под нами. Говорил Исраэль Треппенгелендер:

– У нас еще осталось золото и драгоценности – все это будет вашим, если вы сделаете так, чтобы гетто не огораживали забором. Ведь если это случится, все мы погибнем.

Мы слышали, как отец ответил глухим голосом:

– Идите домой, люди, я не скажу вам ничего нового. Могу только повторить: даже если бы я хотел, я не бы мог помочь вам. Приказ есть приказ.

Кто-то тяжело вздохнул, а еврейский старейшина заговорил горячо и взволнованно:

– Не берите на себя такой грех. Вы должны нам помочь, если хотите быть оправданным перед Богом. Мы знаем, что вы один из нас, ведь вы из семьи Хиршей, которые живут от Риги до Лемберга. Вы не можете помочь всем, это мы тоже знаем, но спасите хотя бы по одному ребенку из каждой семьи, чтобы их поклонение Господу, продолжающееся уже тысячелетия, не прервалось. Чтобы оставшиеся в живых сыновья могли прочитать кадиш<sup>15</sup> по своим отцам и отцам девушек, которых они возьмут себе в

жены. Не бойтесь – то, что мы знаем, мы унесем с собой в могилу. Знающие не говорят.

Какое-то время было тихо, а потом послышался голос нашего отца, который звучал как-то странно, незнакомо:

– Почему же вы не договариваете? Мне знакома эта старая китайская поговорка. Там дальше сказано: ...а говорящие не знают. Вот мой паспорт, и там написано, что я родился в Ютеборге, провинции Бранденбург. Читайте сами.

– Он может быть фальшивым. Есть очень хорошие подделки. Хотя возможно, что кого-нибудь из Хиршей и занесло в Германию. Я обращаюсь к совести одного из сыновей нашего народа – будьте милосердны.

– Я уже сказал, я не еврей, и я не могу помочь вам. У меня связаны руки. Вами занимается лично комиссар округа, и вы это знаете. Почему же вы приходите ко мне?

– Пусть Бог простит вам ваше жестокосердие, – голос Исаэля Треппенгелендера был печален.

Потом послышалось шарканье ног, и двери дома закрылись. Мы вспомнили, как ровно год назад нас выгнали из школы, потому что у нас не было свидетельства об арийском происхождении. Тогда родителям потребовалось три месяца для изнурительной переписки и многочисленных поездок на родину, прежде чем директору школы была представлена наша родословная по обеим линиям аж до тридцатилетней войны<sup>16</sup>. Дальше, к сожалению, ее проследить

не удалось, так как во время войны сгорели церковные книги.

На следующее утро, на основании приказа по округу, гетто в нашем городе – как несколькими месяцами раньше во всех больших городах – было огорожено тремя рядами колючей проволоки на двухметровую высоту. Единственный вход, он же выход, охранялся днем и ночью. Для многих евреев уже тогда это был смертный приговор. Не имея своих продуктов, они были лишены единственной возможности покупать их у польских торговцев и крестьян, ежедневно приходивших в гетто. Продовольственных карточек евреям не полагалось. По распоряжению комиссара округа они получали лишь несколько возов кормовой картошки или свеклы и столько же торфа для отопления своих жилищ. Для трех тысяч человек – это капля в море. К тому же несчастных все прибывало и прибывало. В конце концов в переполненное гетто согнали евреев из половины округа.

Они находились там еще целый год, в течение которого треть заключенных умерла. В пасхальную неделю 1942 года гетто в нашем городе было ликвидировано. Часть евреев увезли в открытых грузовиках, а остальных – основную массу – угнали пешком, прямо так, кто в чем был и без вещей. На рассвете их, как обычно, выстроили на рыночной площади, чтобы сделать переключку. Люди ничего не подозревали и не были собраны в дорогу.

Отец запретил нам в тот день выходить из дому.

Мы все-таки отправились в город. Лучше бы мы этого не делали, лучше бы послушались отца. Теперь нас до самой смерти будет преследовать та страшная картина: колонны оборванных, истощенных людей, крик детей, жалобные стоны стариков, рыдания матерей и отчаяние мужчин. Ничто не сотрет из нашей памяти эти лица, лица людей, которые уже тогда знали то, что нам стало известно только спустя годы после войны – что путь их лежал в лагерь уничтожения.

В последующие дни полиция провела в гетто обыски. Все найденные ценности были конфискованы, а еврейское имущество свезено в польский костел, откуда немецкие переселенцы и поляки могли брать себе все, что им было нужно. После этого гетто было до основания сожжено.

В тот памятный день за ужином мама спросила:

– Куда же они повели их без вещей и без еды?

И отец, глядя в свою тарелку, ответил:

– Забудь об этом. Мы сделали все, что могли, больше им ничем нельзя было помочь.

После этого за столом стало так тихо, что можно было бы услышать звук упавшей на пол иголки.

## «Слушай, Израиль...»

Нехамия Перле не прибавил шагу, услышав за собой тяжелые шаги кованых сапог, и не оглянулся, когда они на мгновение, вероятно, для проверки документов, остановились. На него навалилась усталость. Остаток ночи – после того, как польские проводники за большие деньги по подземным коммуникациям вывели его во втором часу ночи из Варшавского гетто в арийскую часть города, – он провел в какой-то подворотне, забившись в самый дальний угол. Как только рассвело, он отправился по адресам пяти польских семей, полученным в совете старейшин. Найти убежище, даже временное, было трудно. За «укрывательство евреев» грозила смертная казнь. Повсюду: на афишных тумбах, на углах улиц и просто на стенах домов – в глаза бросались плакаты, на которых было написано жирными буквами: «Смерть каждому поляку, укрывающему евреев!» Обыски и облавы не прекращались.

Он обошел все пять адресов. Безуспешно. Две семьи уже приютили по несколько таких же несчастных, к третьей переселились родственники из местечка Калиш, что в Вартегау, и поэтому при всем желании Нехамия не мог там остаться. Но его накормили, он помылся и отправился дальше. Четвертая семья, как рассказали соседи, была арестована – кто-то донес, что они укры-

вают евреев. Пятая... Там ему не открыли. Они были дома и наблюдали за ним через глазок. Позвонив в третий раз в закрытую дверь и не получив ответа, он ушел.

Полдня он бесцельно бродил по городу. На что ему оставалось надеяться? На то, что произойдет чудо, и его молитва будет услышана? Но после всего пережитого он не мог произнести: «Слушай, Израиль...»<sup>17</sup> – те самые слова, которые звучат во время утренней и вечерней молитвы и которые произносят, расставаясь с жизнью. На то, что Господь простит ему его дерзкое сомнение? Но как можно было безоговорочно верить в милосердную доброту и справедливость Бога Авраама, Исаака и Иакова в то время, когда тысячи невинных евреев голодали, подвергались мучениям, умирали?..

Из восьми человек семьи Нехамия Перле остался в живых один. Он обрезал пейсы, остриг длинные до плеч волосы и сбрил бороду, оставив только густые висячие усы, которые щекотали подбородок и придавали ему вид мелкого крестьянина или пожилого рабочего. Ничто больше не напоминало о благочестивом еврее, который все свободное время проводил в молитвах и пении псалмов, учил своих детей Торе и читал Священные Книги. Вместо круглой черной шляпы, какие носили польские евреи, на глаза была надвинута старая, линялая шапка из овчины. Без бороды и шляпы он чувствовал себя голым, несмотря на непривычный засаленный крестьянский тулуп, за который пришлось отдать

остаток сберегаемых на черный день американских долларов, тех, что дядя из Нью-Йорка прислал ему незадолго до начала войны. Но все эти старания были бы напрасны, если бы не его арийская внешность, необычные для еврея светло-пепельные с серебряными нитями седины волосы и водянисто-голубые под воспаленными веками глаза. Что с ним будет дальше, Нехамия не знал.

Единственным его желанием было пережить это страшное время, чтобы все, что видели его глаза и слышали его уши, передать потомкам. Он шел по улице, как казалось со стороны, совершенно равнодушно, в то время как при мысли, что его могут схватить, сердце готово было выпрыгнуть у него из груди, а кровь так бешено стучала в висках, что он опасался, как бы прохожие не заметили эти верные признаки страха и не выдали его. Но никто не достаивал его взглядом. Вот и немецкий патруль, обогнав Нехамию, не обратил на него никакого внимания. Вероятно, по одежде и мешку на плече его принимали за одного из мелких крестьян, которые торгуют на рынке капустой и различными кореньями.

Больше всего он боялся патрулей с черепами на фуражках и петлицах мундиров, целыми днями, а часто и ночами прочесывавших улицы, проверяя документы и задерживая подозрительных. Его предупреждали, что встреч с ними надо избегать. Тем более, что на польский паспорт денег уже не хватило. Богатые евреи, к которым он обращался, с сожалением разводили руками. Да

и неудивительно – кто в такое время будет что-то дарить?

Заметив в конце улицы стены гетто, он с ужасом понял, что сделал круг. И само собой разумеется, что проверки документов в районах, прилегающих к гетто, особенно часты и строги. Когда новый патруль вынырнул из переулка и направился в его сторону, Нехамия остановился, как вкопанный. Глаза его расширились от ужаса, когда на форме солдат он увидел зловещие черепа, воздуха вдруг стало мало, тело покрылось холодным, липким потом. Патруль приближался, а мозг сверлила единственная мысль: «Пропал». Вдруг одна из поджидавших клиентов уличных девиц схватила его за руку и, громко приветствуя, словно старого знакомого, решительно потянула через подворотню во внутренний двор соседнего дома.

– Ничего не бойтесь. Я уже спрятала одного, – быстро зашептала она по-польски, – и для вас тоже найдется место, правда, будет немного тесновато.

– Откуда вы знаете... – пораженно начал было Нехамия, но она быстро перебила его, заговорив нарочно громко:

– Я беру пятьдесят злотых, но для тех, кто платит продуктами, делаю скидку.

Поднимаясь за нею по крутой, грязной лестнице в мансарду, он услышал, как одна из соседок, смотревших на них из окон, сказала другой:

– Эти девки совсем уже обнаглели – занимаются своими делами даже днем.



Впустив Нехамию в квартиру и заперев дверь, женщина сказала, обращаясь к кому-то невидимому:

– Зендер, это я. Я привела твоего товарища по несчастью.

Только в маленькой, чистой кухне она ответила на его вопрос:

– Вас выдали ваши глаза. Когда я вас увидела, то приняла за одного из мелких крестьян, которые приходят торговать на рынок, и поэтому я удивилась, что вы идете в совершенно противоположную сторону. А когда появились эсэсовцы, я заметила ваш испуг. Так смотрят только люди, находящиеся в смертельной опасности: партизаны, дезертиры или евреи. Вы не похожи ни на партизана, ни на дезертира, поэтому осталось только последнее, хотя ваша внешность и не соответствует привычному представлению о евреях.

Он молча кивнул, все еще не в силах поверить в то, что произошло, и посмотрел на свою спасительницу. Это была молодая женщина с самым обычным, ничем не примечательным лицом – ни красавица, ни дурнушка. Единственное, что в ней поражало, – это несвойственные женщинам ее профессии деликатность и манера выражаться. Нехамия хотел ее поблагодарить, но она со скромной улыбкой сказала:

– Благодарите Бога, а за меня – помолитесь. Я буду чувствовать себя спокойнее.

Зендер Блум, молодой еврей лет двадцати, с явно семитскими чертами лица, готовил чай, и,

пока они пили, Ванда ознакомила вновь прибывшего с некоторыми правилами поведения:

– Голодать вы не будете. Ко мне регулярно приходят немецкие солдаты и приносят достаточно продуктов. Вы лишь должны вести себя тихо, чтобы жильцы под нами ничего не заметили. За стеной соседей нет – вторую половину чердака занимает помещение для сушки белья, – поэтому опасность исходит только снизу. Я связала носки с двойной подошвой. Зендер даст вам одну пару. Когда у меня будет клиент, вы не должны разговаривать даже шепотом, и придется потерпеть, если все будет происходить слишком громко или меня начнут бить. Правда, это происходит нечасто. Ночью вы можете ходить по квартире, а все остальное время должны сидеть в тайнике. Когда услышите, что щелкнул замок, старайтесь избегать любого шороха. На тот случай, если вы не заметите, как открылась дверь, у меня целый день включено радио. И еще одно. Зендер – христианин, но я надеюсь, что это не будет вам мешать.

– Я... у меня... нет денег... я не могу вам заплатить... – запинаясь проговорил Нехамя Перле.

– Это сделают другие, – ответила она смеясь. – Я беру с немцев вдвое дороже, чем со своих соотечественников. Какая ирония судьбы! Охотники оплачивают проживание тех, за кем охотятся!

На этом она простилась и передала новичка на попечение Зендера.

– Пойдемте, – пригласил тот шепотом, – гово-

речь тихо уже давно стало его привычкой, – мы должны спрятаться. – Он провёл Нехамию в узкий, темный коридор, открыл дверь большого, во всю стену, шкафа, раздвинул висевшую там одежду, снял заднюю стенку, и они забрались в маленький, без окон, чулан, вся «обстановка» которого состояла из короткой скамьи, табуретки, заменявшей стол, продавленного кресла, вешалки и узкой полки на стене, на высоте человеческого роста. Зендер зажег стоящую на ней свечу и сказал, помогая Нехамии снять тулуп:

– К темноте и шепоту вы привыкнете довольно быстро. Самое главное – не терять надежды, что все это однажды пройдет и мы снова увидим над головой небо, а под ногами землю. А пока что осмотритесь еще раз внимательно и запомните, где что находится, – я сейчас погашу свечу. Пламя требует кислорода, а воздуха для двоих и так будет немного. Хорошо еще, что крыши на старых домах делали высокими. Когда в квартире никого нет, мы можем снимать заднюю стенку шкафа, чтобы впустить к нам немного свежего воздуха. А теперь садитесь в кресло, там очень удобно, и отдохните от волнений. Позже мы сможем продолжить нашу беседу, у нас теперь много времени. Единственное, что осталось, и к тому же в избытке. Да еще надежда, что Бог нам поможет. Хотя, – нерешительно добавил он после короткой паузы, – сейчас, когда наш несчастный народ так страдает, эта надежда граничит с дерзостью.

Нехамия откинулся на спинку кресла и устало закрыл глаза. Он чувствовал, как напряжение последних часов медленно проходит. Он успокаивался. Неожиданно перед его мысленным взором возникли события последних лет. Одна картина сменялась другой, как будто кто-то перематывал киноленту. 23 ноября 1939 года. Издан приказ, по которому все евреи должны носить на одежде желтые шестиконечные звезды, а также белые нарукавные повязки. Евреи нашли этот приказ странным, но особого значения ему не придали. Ходили, правда, разные слухи, но им мало кто верил. Тогда Нехамия Перле жил еще в Лодзи, в мирном соседстве с немцами и поляками, как уважаемый человек, имеющий солидное торговое дело, как еврей, исповедующий свою религию и придерживающийся традиций своего народа. Конечно, он видел, что антисемитские настроения в Польше в последние предвоенные годы усилились, но это его не беспокоило. На протяжении всех веков голоса, обвинявшие евреев в распятии Христа, то затихали, то начинали звучать с новой силой.

Но уже следующие картины наполнили его душу болью зарождающегося сомнения в милосердии Бога: появление спустя пять месяцев после того приказа первого гетто в Лодзи, конфискация его магазина в начале мая сорокового и меньше, чем через год – депортация вместе с 72 тысячами таких же несчастных из Лодзи в Варшавское гетто. Для семьи Перле началось трудное время, но сейчас он тосковал по нему

всеми фибрами души – тогда его родные были с ним, а все остальное не имело значения. Они жили ввосьмером в одной небольшой комнате и делили кухню с тремя другими семьями, жившими в той же квартире, что вызывало споры и конфликты, когда женщины одновременно хотели готовить. Так продолжалось месяц, до тех пор, пока не найдено было решение, удовлетворяющее всех. И снова стало возможно мирно общаться и помогать друг другу. Они еще находились в привилегированном положении – имели целую комнату и не должны были ютиться, как прибывшие позже бедные еврейские семьи из деревень. Те уже жили в холодных, грязных помещениях бывших школ и общественных зданий, голодая и страдая от болезней. Увидев нищету, царящую в этих «пунктах», организованных для приема переселенных евреев, Нехамия Перле впервые в бессильном, отчаянном гневе сжал кулаки и возроптал на Бога своих отцов.

Когда 20 января 1942 года было принято «окончательное решение по еврейскому вопросу» и начались облавы и депортации, им снова повезло. Он нашел работу на фабрике Теббенса, которая открылась в здании бывшей ремесленной школы на Лесноштрассе, получил там справку, и эта бумажка с печатью уберегла его и семью от самого худшего. Начиная с 22 июля евреев из Варшавского гетто стали большими партиями вывозить в концентрационные лагеря Трешлинка и Белжец. Несколько юношей, которым удалось

оттуда бежать, вернулись в гетто и рассказывали такие страшные вещи, что люди не хотели им верить, – услышанное просто не укладывалось в рамки человеческого сознания. А в гетто тем временем начался голод, дети и старики умирали прямо на улицах, свирепствовал тиф. Но и тогда семья Перле кое-как перебивалась. Работая на фабрике, Нехамия имел возможность ежедневно покупать на фабричной кухне по два литра супа за семьдесят грошей.

Следующая картина, возникшая в сознании, заставила его громко застонать, но Зендер успел зажать ему рукой рот. Он увидел, как однажды после ночной смены вернулся в квартиру, где царила мертвая тишина. В ней не было ни души, как и во всем доме. Судя по ужасному беспорядку, несчастных увели силой. Их крики долго еще звенели у него в ушах. Как безумный, побежал он к тому месту, куда сгоняли депортируемых для погрузки на машины, но было уже поздно. Подавленные мужчины, коллеги из ночной смены, разделившие его судьбу, брели оттуда с опущенными головами. Вернувшись в квартиру, Нехамия собрал кое-что из одежды, побросал все в мешок и бегом покинул этот дом.

С тех пор он перестал молиться: «Слушай, Израиль...» Нет, он никак не мог выговорить эти слова, видя, что Бог не желает слышать криков Своих детей.

Он не вернулся на фабрику, а попросился жить к своему шурину Юлеку Цигельбойму. Юлек и его жена Файгеле с готовностью приюти-

ли Нехамию, а потом еще и Хаима и Ицхака Вольфов, чьих родных тоже вывезли в концлагерь. Целых четыре недели жили они вместе, голодая и борясь со страхом и отчаянием. После того, как однажды в их отсутствие забрали Файгеле и детей, четверо мужчин решили пробраться поодиночке в арийскую часть города.

И вот теперь он, Нехамия Перле, сидел здесь, на чердаке бедного польского дома, спасенный проституткой, в обществе выкреста, отщепенца, по которому отец уже прочел заупокойную<sup>18</sup>. Он испытывал одновременно благодарность и боль, и это двойственное чувство внесло разлад в его сердце. Он попытался разобраться в своих мыслях и понять, наконец, что за чудо с ним произошло. «Как могло случиться, – беззвучно шептали его губы, – что проститутка, девка тысячу раз униженная, с растоптанной честью и заплеванной душой, оказалась милосерднее многих наших набожных и благочестивых богачей, которые на улице отводят глаза, чтобы не видеть голодных, просящих милостыню детей, и поспешно проходят мимо, не дав им даже кусочка. Они не голодали, потому что за деньги и в гетто можно было купить все на черном рынке. Как это объяснить, я не знаю...»

Зендер Блюм взял его руку, крепко сжал и утешающе, будто знал о том, что делается в душе Нехамии, прошептал:

– Пути Господни неисповедимы, и помыслы Его далеки от наших, как небо. Что есть благо и добро в глазах Всевышнего? Только Он знает это.

Я думаю, что один милосердный поступок оправдывает нас перед Ним больше, чем это смогли бы сделать тысячи молитв. Блудница Раав не погибла вместе с другими жителями Иерихона, а была спасена, потому что приняла в своем доме и скрыла от преследователей соглядатаев, посланных народом израильским. Вы помните?

Он помнил.

– Часто наши предрассудки мешают нам понять истину, – продолжал Зендер. – Я тоже первое время много об этом думал и тогда понял слова нашего учителя Иисуса: «Первые будут последними, и последние будут первыми». Божьей милостью. В глазах людей, кичащихся своим благочестием, наша спасительница – низшая из низших и презираемая из презираемых. Но богачи, в чьи двери я стучался, не помогли мне, а она была милосердна. Она спрятала меня и прячет уже целый год, хотя знает, что это грозит ей смертью. И вас приняла. Она ближе к Царствию Небесному, чем мы будем когда-либо. Потому что, как сказал наш Мессия, никто не может любить сильнее, чем тот, кто за своего брата бросает на чашу весов собственную жизнь.

Они долго молчали, погруженные в свои мысли.

В тот вечер на чердаке вместе с «Отче наш» звучала и еврейская вечерняя молитва, которая начинается словами «Слушай, Израиль...» Нехамия Перле, вновь обратившийся к своему Богу, дополнил ее молитвой выздоравливающего: «Славен будь, Ты, Который поддерживает пошат-



нувшихся и излечивает заболевших! Смерть и жизнь даруешь Ты, в смерти – покой, но милость – в жизни. Благодарю Тебя, Который подарил мне милость Свою...»

Нехамия Перле и Зендер Блюм пережили оккупацию. Через неделю после начала Варшавского восстания, организованного Армией Крайовой<sup>19</sup>, Ванда достала им польскую форму, вывела их из города и устроила за большие деньги на крестьянском хуторе. Чтобы бросающаяся в глаза еврейская внешность Зендера не обернулась для него гибелью, она забинтовала ему голову так, что были видны только глаза и рот. Бинты она выпросила у немецкого военного врача, который был ее клиентом, и пропитала их своей собственной кровью.

## Ночь без звезд

Варшава, август 1944-го

Симха Эткин замедляет шаг и, прислушиваясь, поднимает голову. Здесь можно стоять, выпрямившись в полный рост. По Раковецкой едут танки. Где-то неподалеку стреляют. Слышны взрывы, но он не может определить, что взрывается – авиабомбы или цистерны с горючим. В одном месте сверху течет – наверное, поблизости повредило водопровод. Сорвавшаяся со стены и с громким пискom шлепнувшаяся в воду крыса заставляет Симху вздрогнуть от неожиданности. Он никак не может привыкнуть к крысам, он их боится. Голод делает крыс агрессивными, уже много раз они целыми стаями нападали на него, когда он устраивался на ночь в какой-нибудь сухой нише. Вообще-то здесь, внизу, всегда ночь. Только там, где улицы повреждены разрывами снарядов и бомб, в канализацию проникает дневной свет. Вонючие сточные воды, несущие всю грязь большого города, идут как бы волнами – то поднимаясь до уровня груди, то спадая ниже колен. Особенно плохо бывает во время ливней и затяжных дождей.

Симка Эткин живет в варшавской канализации уже больше года. Точнее, один год и четыре месяца – с начала восстания в Варшавском гетто. Всякий, кто не разбирается в запутанной системе

канализации, неминуемо нашел бы здесь свою смерть. Тут есть ходы, по которым можно пройти только на четвереньках, и зловонная вода доходит при этом до самых губ. А есть каналы, которые круто уходят вниз, к Висле, и, если не быть осторожным, можно свалиться прямо в реку, потому что защитные решетки перепилили евреи, пытавшиеся бежать этим путем, когда в июле 1942-го их начали вывозить в концлагеря, а потом, когда восстание было подавлено, в гетто. Но немногим удалось переплыть освещенную мощными прожекторами Вислу и спастись. До немецкой оккупации Симха Эткин работал здесь, внизу, и поэтому хорошо ориентировался в системе канализационных ходов. Он знал, где находятся довольно просторные, никогда не затопляемые ниши, в которых рабочие отдыхали и обедали. Знал и расположение главных ходов, соединенных с поверхностью канализационными люками.

Устроившись в узкой боковой нише, он принимается непослушными пальцами массировать опухшие ступни ног, и к нему возвращаются мучительные мысли. Вспоминаются жена Маня и дети Марек и Янина, довоенная жизнь в одном из узких переулков в центре Варшавы... С помощью польской подпольной организации детей удалось спрятать у одной польской крестьянки, а жена скрывалась в лесах под Варшавой. Простившись с ними год назад, он больше ничего не знал об их дальнейшей судьбе.

Но больше, чем тоска по родным, больше, чем

эта вечная ночь без звезд и без надежды на то, что наступит утро, мучил вопрос: «Почему?» Почему Бог наказывает его и других детей Своего народа? Почему они, испытавшие за всю свою историю столько страданий, должны быть истреблены с лица земли? Сколько бы он ни размышлял над этим, найти причину столь сурового наказания ему не удавалось. Как и все евреи, которых он знал, Симха следовал заповедям, уважал родителей, ходил в синагогу, работал в общине и соблюдал субботу. Он старался любить ближних, как себя самого. Всех ближних без исключения. Оставаясь верным еврейской вере, Симха Эткин чувствовал себя поляком не меньше, чем те, с кем он рядом жил. Но в последние два года ему особенно ясно дали почувствовать, что он – чужой.

Да, ему помогла польская подпольная организация, помогали и отдельные люди – в силу их христианской морали или просто из сострадания, но все же большинство поляков были настроены враждебно. Конечно, четыре года антисемитской пропаганды и репрессий отравили их души, заставили забыть, что евреи – тоже люди. Да и расклеенные повсюду плакаты «Смерть каждому поляку, укрывающему евреев!» делали свое дело. Но все-таки истинная причина лежала глубже. Она уходила корнями в религию.

«Христубийца!» – сколько раз он слышал это, когда по ночам в поисках помощи стучался в польские дома! Один католический священник, член польского движения Сопротивления, кото-

рого Симха и еще шестеро евреев выходили от дизентерии в своем подземелье, признался ему: «Вы спасли меня, делили со мной последний кусок, а ведь я всю жизнь презирал вас. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что никогда не слышал о вас ни одного хорошего слова. Потому что презрение к вашему народу внушалось мне с детских лет. И костел тоже этим грешил. Божья же кара постигла не только вас, но и нас. Если бы я мог крикнуть всему миру, что миф о превосходстве христиан над евреями – ложь! Что со времен Голгофы мы, христиане, нашим отношением к евреям миллион раз пригвоздили Иисуса ко кресту! Ведь наш Спаситель есть сын вашего народа, и Матка Бозка – Пресвятая Дева Мария, хранительница Польши, – тоже еврейка».

По ночам они парами выбирались через водостоки на поверхность, чтобы поискать в подвалах домов чего-нибудь съестного. Но если небо не было затянуто тучами и луна освещала пустынные улицы, несчастные оставались в своем подземелье из боязни быть замеченными немецкими патрулями. А это означало еще двадцать четыре часа голода и жажды. Но опасность угрожала не только со стороны немцев. Были еще «смальцовники» – настоящее бедствие для евреев и членов польского подполья. «Смалец» по-польски значит «сало». Выследив жертву, эти вымогатели и кровопийцы останавливали ее со словами: «Поделись салцем!» Того, кто не мог откупиться золотом, долларами и драгоценностями, безжалостно выдавали немцам.

Стоит Симхе Эткину, устроившись на ночь, закрыть глаза, как мысли возвращаются к трагедии Варшавского гетто, и словно пудовая тяжесть наваливается на грудь. И причина – не только собственная судьба. Поначалу он пострадал даже меньше других – его двухкомнатная квартира, без ванны и с узкой кухонькой, находилась как раз в том районе, который немецкие оккупационные власти отвели под еврейское гетто. Но через две недели у него жили уже три десятка родственников, и с каждым днем их становилось все больше и больше. В конце концов даже на полу уже негде было лечь, и Симха вынужден был указать многочисленным родственникам своих родственников на дверь. Они его проклинали. Но не только эти проклятия звучат у него в ушах. Симха слышит голоса множества людей, которым ничем не мог помочь. Тех, кто умер от тифа и дизентерии в ту ужасную зиму 1940 года. В огромных общих могилах каждый месяц хоронили по шесть-семь тысяч человек.

Это голоса тех, кого в 1942 году вывезли в Треблинку и Майданек, и крики о помощи тех, кто сгорел в море огня во время подавления восстания в гетто в 1943-м. По лицу Симхи текут слезы, его бьет дрожь. И в то же время он слышит шепот соседей друзей своих друзей из арийской части города, где он нашел временное убежище: «Они держат кошек». Так говорили о тех, кто прячет евреев. Эти голоса заставляют его страдать больше всего, потому что лишают веры в сочувствие поляков.

На следующий день после окончательного разгрома восстания в гетто смальцовники сообщили немцам, что тысячи евреев укрылись в канализации, и эсэсовцы сбросили туда газовые бомбы. Симха остался в живых только потому, что, как обычно, отправился на поиски продовольствия. Просидев пять дней в развалинах какого-то дома, он наконец отважился спуститься вниз, где нашел своих мертвых товарищей. Единственное, что Симха мог для них сделать, – перенести их тела в один из главных каналов, откуда их смыло в Вислу. После этого он перенес свою штаб-квартиру под улицу Раковецкую, где находится иезуитский монастырь. В нем живут 26 монахов и десять светских членов ордена; двери его всегда открыты для гонимых и нуждающихся. Когда снаружи тихо, Симха, прикладывая ухо к прилегающей к монастырю стене, может слышать молитвы и песнопения монахов и даже голос аббата, совершающего богослужение, если тот говорит достаточно громко. Канализационный люк, через который можно выбраться на поверхность, находится совсем рядом с монастырем. «В случае чего, попрошу их приютить меня, – думает Симха Эткин. – Они не откажут». А внутренний голос шепчет: «Они поляки, они выдадут тебя, чтобы спасти собственную шкуру». Симха не знает, что даже тогда, когда погаснут все звезды, звезда Вифлеема, объединяющая христиан всех народов, всех рас и национальностей в Христовой любви, несмотря на глубочайший мрак, продолжает гореть в людях, озаряя своим сиянием самую темную ночь.

Первого августа начнется Варшавское восстание, которое будет подавлено через 63 дня. Поднимая его, поляки рассчитывали на то, что советские войска, занявшие правобережный пригород Варшавы – Прагу, поспешат на помощь восставшим. Но «Советы» и не думали помогать им – некоммунистическое польское подполье, руководимое из Лондона польским правительством в изгнании, никогда не пользовалось их расположением. Они хладнокровно наблюдали, как восстание захлебнулось в крови.

Симха уже больше не отваживается выбираться из своего подземного укрытия, несмотря на то, что его мучают голод и жажда. Но немцы снова пускают в канализацию газ. Мозг работает автоматически: единственное спасение – вверх!

С трудом выбравшись через канализационный люк, Симха Эткин, шатаясь, подходит к воротам монастыря. Десятилетний Збышек Миколайчик, живущий с мамой у братьев-иезуитов, берет его за руку и ведет к монахам. «Не бойся, – успокаивает несчастного малыш, – здесь ты в безопасности, здесь никто не может тебе ничего сделать. Это дом Бога». Симха верит этому детскому голосу: «Не бойся, отцы-иезуиты добрые».

Монахи встречают его как брата, кормят, моют, дают чистую одежду и укладывают спать в келье. Но едва он забылся беспокойным сном, его будят и отводят в подвал, где приготовлена другая постель. – Рядом с монастырем начался бой, и здесь будет безопаснее.

Через некоторое время на его постель броса-



ется рыдающий Збышек: «Они застрелили маму и аббата Козибовича. Они велели всем идти в подвал!» Симха видит толпящихся в испуге людей. В следующий момент в них летят ручные гранаты.

Оставшиеся в живых падают на колени и громко молятся, а в это время с лестницы доносится властный голос: «Где стрелявшие бандиты?» Из монастыря никто не стрелял – вероятно, восставшие укрылись в соседнем здании, а расплата настигает невинных. В подвал вбегают эсэсовцы. Среди них семнадцатилетний волынский немец Генрих Майер, выросший в набожной семье и попавший в части СС словно по чьей-то злой воле. Он слышит приказ «Огонь!», но не стреляет. Его толкают сбоку: «Эй, ты что – спишь?», и страх заставляет юношу спустить курок. Он стреляет и кричит, как безумный: «Господи, прости меня!» Автоматные очереди косят людей, как камыш.

В живых остаются лишь шестеро монахов. Получивший в грудь несколько пуль Симха Эткин кричит в предсмертных муках, и на эти крики бросается молодой эсэсовец Генрих Майер. Он подхватывает умирающего, стараясь не дать ему упасть. В этот момент на «предателя» обрушиваются автоматные очереди.

## Руфь

В моей стране миллионы могил.  
По моей стране прошел огонь.  
По моей стране прошла беда.  
В моей стране был Освенцим.  
Владислав Броневский

Над низкими крышами подул первый весенний ветер. Он принес с собой дождь. И без того мрачные лагерные блоки, построенные из красного кирпича – словно на века, выглядели под его тонкими, острыми струями еще более зловеще. У входа в лагерь находился комендантский блок, а рядом с ним – железнодорожная платформа, на которую прибывали вагоны с узниками, – последняя станция в жизни миллионов людей. Несколько сот метров дальше находился небольшой, окруженный соснами и заросший камышом пруд. Мертвый пруд. Его родник задохнулся от человеческого пепла.

Концентрационный лагерь Освенцим. Самый большой лагерь уничтожения народов. Здесь находилось двадцать тысяч человек, и ежедневно прибывали новые партии узников, набитых в скотные вагоны. Выйдя на платформу, даже самые наивные из них понимали, что находятся на перевалочном пункте смерти.

Ранней весной, в один из пасмурных дней вернувшиеся с работы женщины привели в свой

блок, в котором жили 240 политических узниц пяти национальностей, еврейскую девочку. Из-за постоянного недоедания пятилетняя Руфь казалась совсем маленькой. Когда женщины проходили мимо платформы, из вагонов выгружалась очередная партия узников, которых ждали газовые камеры. Воспользовавшись царившей вокруг неразберихой, какой-то старик-еврей втолкнул девочку к ним в строй, умоляя спасти ее от смерти. Вся семья его погибла в Варшавском гетто от тифа и от голода – осталась только внучка, и он просил женщин сжалиться над ней.

То ли конвоировавший женщин надзиратель отвлекся, то ли сделал вид, что ничего не заметил, так или иначе, но им удалось провести ребенка в свой блок.

Ильзе Ханзен, крупная и грубая, как портовый грузчик, в свои тридцать лет была признана неисправимой уголовницей и проституткой и уже три года на правах постоянного обитателя лагеря исполняла обязанности старосты блока. Увидев среди узниц девочку, чей узкий с горбинкой нос и большие черные, миндалевидные глаза сразу же выдавали ее происхождение, она уперлась кулаками в бока и закричала голосом, которому позавидовал бы командир полка: «Вы что, тупое бабье, захотели в газовую камеру? Чтобы духу этого жидовского чучела здесь не было! Ну, живо!»

Но тут вдруг бледная и испуганная девочка подбежала к ней, обхватила худенькими ручками за ноги, подняла личико и, доверчиво глядя на Ильзу, спросила: «Ты теперь моя новая мама?»

В воздухе повисла мертвая тишина, все женщины замерли и с ужасом смотрели на старосту. Но произошло невероятное – грубое лицо Ханзен осветилось нежной материнской улыбкой, и она ответила тихим и неуверенным голосом: «Да, малышка, с этого дня я твоя новая мама». Она погладила черную, кудрявую головку, взяла девочку на руки, прижала к себе и сказала привычным командовать голосом: «Держите язык за зубами! Понятно?» Но это было излишне. В тот момент любая из узниц, не раздумывая, бросилась бы в огонь за ненавистную старосту.

Ханзен спрятала ребенка под своей кроватью, стоявшей отдельно в оконной нише, и строго-настрого запретила девочке вылезать оттуда без разрешения.

Так маленькая Руфь нашла новый дом, новую маму и 240 заботливых тетей. Существование закоренелой уголовницы Ильзе Ханзен наполнилось теперь новым смыслом: спасти от смерти этого маленького человечка, выбравшего ее своей мамой. В ее бурной жизни не было никого, кто бы так безоговорочно верил ей и любил ее, и поэтому чувство, неожиданно возникшее в ее очерстневшей душе по отношению к девочке, было настолько глубоким, что перечеркнуло все ее прошлое. Женщины, все помыслы которых были направлены на то, чтобы доставить ребенку радость, собирали для него маленькие круглые камешки, старались украсть каждый замеченный где-нибудь цветной лоскут, шепотом рассказывали девочке в темноте наступающей ночи истории

о волшебном мире, где мамы гуляют со своими детьми под яркими и теплыми лучами солнца. Ах, лучше бы Руфь не слышала этих рассказов о мире, который ей не суждено было увидеть.

В день узникам полагалось сто двадцать граммов хлеба и тарелка водянистого супа, в котором плавало чуть-чуть капусты. Одной из ее игр было делить хлеб и раздавать суп. В своей жизни она помнила только Варшавское гетто, где ее семья ютилась в одном из так называемых «пунктов», организованных для размещения евреев, депортированных из деревень и небольших городков. Истории, которые рассказывали женщины, будили в детском сердечке тоску по голубому небу, птичьему пению и яркому солнцу.

Все дни Руфь проводила в сером полумраке под кроватью, лежа на двух одеялах. Это были долгие часы, полные томительного ожидания. И только ночью она оказывалась в объятиях своей новой мамы, окруженная добрыми тетями и осыпаемая бесконечными ласками.

– Как-нибудь, если ты будешь себя хорошо вести и не будешь бояться сидеть под кроватью, мы с тобой пойдем гулять, – говорила Ильзе Ханзен девочке. – Мы пойдем туда, где будет очень-очень красиво. И все люди на улице будут оставаться, любоваться тобой и любить тебя.

И Руфь, не умевшая ни смеяться, ни плакать, отвечала ей так же тихо:

– Я хочу, чтобы только ты меня любила, ты и тети.

Из разноцветных лоскутков, наворованных

тетями где только возможно было, Ильзе сшила девочке куклу, волосы у которой были из джутовых ниток, надерганных из мешка, а блестящие глаза – из пуговиц от немецкого мундира. Руфь любила свою некрасивую куклу нежной страстью, на которую способны только дети и матери, и не расставалась с ней ни на секунду. Видя это, Ханзен ежедневно напоминала девочке, что та должна сидеть под кроватью тихо, как мышка, потому что злые дяди-эсэсовцы хотят отнять ее куклу. Это было понятно ребенку, и он лежал в своем укрытии, стараясь не шевелиться.

В то роковое майское утро на голубом небе ярко сияло солнце и воздух был наполнен громким пением птиц. Женщины, как всегда, ушли на работу, а Ильзе отправилась по делам в комендантский блок. Завороженная птичьим пением, Руфь тихонечко выглянула из-под кровати. При виде солнечных лучей, наполнявших блок теплым светом, в ее маленькой груди проснулась такая сильная тоска по волшебному светлomu миру, что, забыв все предупреждения, она вылезла из-под кровати, медленно пересекла пустой блок, открыла дверь и уселась снаружи на каменном пороге. Сияющими глазами девочка смотрела на голубое весеннее небо, по которому, словно парусники, плыли белые облака, и, прижимая к груди любимую куклу, ласково говорила ей: «Бедный ребеночек – все время сидишь в темноте. Тебе нужно посмотреть на солнышко и послушать, как поют птички...»

Проходивший мимо эсэсовец заметил ребенка

и, ласково улыбаясь, позвал: «Пойдем, малышка, я отведу тебя к одному хорошему дяде!» Руфь любила всех и вся в этом волшебном солнечном мире – она доверчиво ухватилась за руку человека в черном мундире и ушла с ним, чтобы уже никогда не вернуться.

Позднее знакомый уборщик рассказал растерянной, обыскавшей весь барак в надежде найти ребенка Ильзе Ханзен, что видел, как один эсэсовец привел в медицинский блок маленькую девочку и передал врачу со словами: «Вот вам новый подопытный кролик».

Ребенок обиженно ответил, что он никакой не кролик и что хочет обратно к своей маме. Доктор пообещал Руфи конфетку, если она будет послушной, – он «только сделает ей маленький укольчик, это будет совсем небольно». Затем фашист положил девочку на стол смерти. Прежде, чем игла вонзилась в маленькую вену, Руфь успела спросить: «Дядя, у тебя тоже есть дети, они тоже послушные?» И уже с угасающим взглядом прошептала: «Смотри хорошенько за моей куклой, дядя...»

Да, у «дяди» тоже было четверо детей, но это не помешало извергу убить чужого ребенка. Пепел маленькой еврейской девочки Руфи, как и пепел четырех миллионов других людей, уничтоженных в Освенциме, осел на дно небольшого, окруженного соснами и заросшего камышом пруда, чей родник иссяк навсегда.

## Во имя народа

Пять шагов туда, до маленького зарешеченного окна, и те же пять шагов обратно, до двери с круглым глазком. Сколько раз проделал их заключенный за эти две недели? Он давно уже наизусть знал каждую неровность пола, каждое пятнышко на беленых стенах камеры. Единственно, что могло бы хоть как-то скрасить тягостное существование, был кусочек неба за толстыми прутьями решетки. Но узник не замечал этого неба, снова и снова повторяя этот путь. Он никогда не думал о небе – даже в день оглашения приговора. Пять шагов туда, пять шагов обратно... Однако многое изменилось в тот день, когда огласили приговор. Мысли, непрестанно терзавшие его сердце, вдруг отступили. Сомнений в том, что он опередил суд Божий, больше не было. Правда, оставалось неясным, чьим орудием явился он при этом, но со временем – ибо силой не заставишь прозреть слепого – разрешится и этот вопрос. Времени для размышлений теперь было много, и спокойствие вернулось к нему. Он лежал на нарах, подложив руки под голову, и мысленно проживал свою жизнь в обратном направлении.

Дважды тюремный священник уходил от него ни с чем. Невинный не нуждается в милосердии неба. На предложение покаяться он ответил, что совесть его чиста, и, отвернувшись к стене, оста-



вался в этом положении до тех пор, пока за святым отцом не затворилась дверь. Когда ключ поворачивался в замке, в нем вдруг начала расти странная горечь, но уже через мгновение, преодолев ее, он отрешенно улыбнулся и закрыл глаза.

Когда священник пришел во второй раз, заключенный был более дружелюбен. Настойчивость этого старого человека произвела на него впечатление, и они проговорили почти целый час. Он попытался мысленно восстановить беседу, но в памяти не осталось ничего, кроме пары жалких слов: «Не убий!» Он нахмурился. «Убивать», «убийство» – так называлось это раньше и так называли это теперь. А в то время, «между раньше и теперь»? В то время говорили о героической смерти и о защите Отечества. Это звучало красиво и оправдывало убийство.

Отечество. Это тоже была ложь, одна из многих. Ведь он чувствовал, что связан со всеми людьми мира независимо от цвета кожи и национальности. Он опустил руки и перевернулся на другой бок. Чего ему стоила та война – не знал никто. Душевные потери после нее не подсчитывали. Хотели одного – забыть. Он попытался, как все, начать жизнь заново, но ничего хорошего из этого не вышло. Слишком ясно он видел истинную суть происходящих событий, их причины и последствия. Тогда-то и появился вновь Фердинанд Габлер. Первым чувством был ужас – ужас от того, что этот человек жив... А потом он, как тень, ходил за Габлером по пятам, пока не

убедился, что люди опять готовы слепо подчиниться этому извергу. И тогда убил. С тех пор он уже сто раз судил себя. И сто раз оправдал.

Он поднял голову и прислушался. По коридору приближались шаги. Священник обещал провести с ним в камере эту ночь – его последнюю ночь в следственной тюрьме. Ключ повернулся в замке, и дверь открылась. «Добрый вечер, сын мой». Заключенный тихо улыбнулся. Он не просил святого отца прийти, но тот по глазам прочел желание сердца узника.

Они долго сидели молча. Когда сумерки совсем сгустились, священник зажег одну из принесенных свечей. Мерцающий свет сблизил их лица. В этой полутьме, глядя на маленький язычок пламени, они почувствовали, что особым образом связаны друг с другом.

– Я не хочу оправдываться ни перед Богом, ни перед людьми, – сказал заключенный, прикурив новую сигарету. – Я расскажу вам все с самого начала, потому что мне кажется, что вы поймете меня.

То, чего не смогли добиться ни прокурор, ни защитник, совершило терпеливое молчание старого человека.

– После окончания школы я был мобилизован и направлен в одну из частей в районе Лемберга. Нашим взводом командовал зондерфюрер СС Фердинанд Габлер. Это был высокий, худой блондин с интеллигентным лицом и страшными глазами, от взгляда которого кровь стыла в жилах, а по спине бегали мурашки. Вскоре после

моего прибытия нас повезли на спецзадание. В чем оно заключалось, Габлер объяснил только на месте. Это был его метод. Он оберегал подчиненных от преждевременных угрызений совести. Итак, мы должны были уничтожить «еврейское гнездо».

Нас было тридцать человек, все с полным боекомплектом. Осторожно продвигаясь вперед, мы прочесывали лес, в котором скрывались евреи. Часа через четыре на небольшой поляне были обнаружены несколько землянок. По приказу Габлера оттуда вышли полуголодные и оборванные люди. Мужчины стояли молча, опустив головы. Женщины бросились на землю и ползали перед нами на коленях, умоляя сжалиться. Плачущие дети старались спрятаться за их юбки. Габлер с сатанинской усмешкой на лице наслаждался этим зрелищем.

Потом мы согнали их в кучу. Они, как стадо перепуганных животных, жались друг к другу, втягивая головы в плечи. Габлер крикнул: «Огонь!» – и заработали автоматы. Люди падали, как колосья под градом. Когда стрельба стихла, оказалось, что один совсем маленький ребенок жив. Он стоял, от страха закрыв лицо фартучком, и жалобно вскрикивал: «Мама, мама!» Его мертвая мать лежала, скорчившись, рядом. Я опустил автомат. Вдруг передо мной вырос Габлер, ткнул меня дулом в бок и закричал: «Эй, ты, тебе жалко этот сброд, да? Ты ведь из города, где их полным-полно. Может, и тебя родила такая же грязная сука, а?» Мне было восемнадцать. Я испугался

смерти и нажал на курок. После моей очереди стало тихо. Я убил ребенка.

Да, в тот день я стал убийцей, но эпилог трагедии был еще страшнее. Чтобы сломать меня окончательно, Габлер через несколько недель собственноручно приколол мне на грудь медаль за ту операцию. Я этого ему забыть не мог.

Я рассказываю все это так подробно для того, чтобы вы, святой отец, могли себе лучше представить человека, ставшего впоследствии жертвой моего «преступления». Итак, начало вы теперь знаете. Дальше был Сталинград. Я не могу сказать точно, сколько людей Габлер расстрелял тогда за трусость, но знаю, что их – полуголодных, с обмороженными конечностями, близких к помешательству – было очень много. И это не считая тех, кого он, где бы ни появлялся, гнал под пули русских. Наши пути разошлись, когда меня, раненого, отправили на самолете в тыл. Но ненадолго. В госпитале я увидел его снова. Габлер был в отличном настроении, шутил, заигрывал с сестрами и быстро подружился с главным врачом. Если бы у меня хватило мужества, я бы сделал это уже тогда. Но в девятнадцать лет – какое мужество? Я ненавидел его, но был бессилен. И поэтому начал во всем обвинять Бога. Когда человек не может больше любить, когда он не способен больше верить, ему остается только ненавидеть. Я ненавидел Бога и Фердинанда Габлера, весь мир и себя самого...

Когда я вернулся в часть, он был уже там. Многое изменилось, но Габлер остался прежним.

Для него не существовало Сталинграда – только предательство, трусость и симуляция. Тогда я впервые понял, что им двигало. Это было не только тщеславие, не только врожденная жестокость и циничное презрение к чужой жизни – это было опьянение, которое в примитивных душах рождает жажду власти над людьми.

Потом началось отступление. То, что оставлял после себя Габлер – кавалер Рыцарского креста, не могло присниться и в страшном сне. Солдат, задержанных вне расположения их части, вешали без суда и следствия тут же – на деревьях, воротах или коньках крыш. Так, преследуемые по пятам русскими, мы дошли до Эльбы. И тут однажды ночью Габлер исчез. Ходили слухи, что он перебежал к американцам, но точно никто ничего не знал. Я вместе со всеми попал в плен к русским. Из эшелона мне удалось бежать и обратиться в западную зону. Там я первое время скрывался под видом работника одной фермы.

Наши пути пересеклись вновь спустя пять лет. Я был душевно сломан. Встретиться со взглядом ребенка было для меня мучительнейшей пыткой; при виде детских глаз я бежал прочь, и рыдания разрывали мне грудь. А Габлер остался прежним: веселый и приветливый в обществе, для своих же рабочих – настоящий живодер. Да, он опять преуспевал – такие всегда легко отделяются. Его фабрика была расположена в сельской местности, в тридцати километрах от города, и все работавшие на ней находились полностью в его власти. Кто осмеливался хотя бы пикнуть, на сле-

дующий день оказывался на улице. Я проработал у Габлера два года. Стараясь остаться неузнанным, всегда держался на заднем плане и непрерывно наблюдал за ним. Я ненавидел его по-прежнему, но убил не из ненависти.

Конечно, Габлер сломал мою жизнь, но тогда была война. Если бы все начали сводить счеты, кто бы остался в живых? Нет, здесь было другое. Очень скоро мне стало известно о странных ночных встречах в доме Габлера. Его посетителей я никогда раньше не видел, но их лица были мне хорошо знакомы. Лица расы господ.

Их речи были такими же, как раньше, но это я узнал только позднее, когда замещал истопника на вилле Габлера. Я подслушивал под дверью и подглядывал в замочную скважину. «Гости» пили шампанское и слушали Габлера, который рассказывал что-то о «еврейской свинье». Когда он снял свои очки с затемненными стеклами, кровь застыла у меня в жилах, а по спине побежали мурашки. Поверьте, если бы я заметил в нем хоть малейший след раскаяния, то собрал бы вещички и ушел со своей ненавистью куда-нибудь подальше, чтобы никогда больше не видеть этого человека... С этого дня я стал следить за ним еще внимательнее.

Когда я узнал больше об этих встречах, меня охватил ужас. У него оказалось много сторонников, которые были готовы действовать. Габлер постоянно разжигал в них ненависть к евреям и славянам и подбивал на небольшие вылазки, чтобы «показать людям, что «третий рейх» жив». И когда на одном таком ночном собрании он крик-

нул срывающимся голосом: «Слишком мало их мы посылали в газовые камеры!», и я увидел перед ним слепые, фанатичные лица, тогда я сделал это. Одним выстрелом. Он хорошо научил меня целиться в людей.

Заключенный молчал. Свеча догорела, и ночь повисла между ними, как темный, тяжелый занавес. Наконец священник спросил:

– Почему вы молчали на суде?

Заклученный усмехнулся:

– Может быть, потому, что одного из присяжных, которые должны были вынести мне приговор, я видел у Габлера. Там, на вилле. И потом, неважно, что думают обо мне люди, – перед ними я не виноват, вы видите. Вот если только перед Богом – за то, что опередил Его суд. Хотя кто знает, может, как раз я-то и стал Его орудием?

– Что за мир! – прошептал священник. – Боже мой, что за мир – весь во власти зла!

Заклученный кашлянул и равнодушно продолжал:

– Что было потом, вы знаете. Репортеры поработали на славу. Габлер оказался благородным человеком, любящим и заботливым отцом семейства, я же – чудовищем в человеческом обличии, хладнокровно оставившим двух его ребятишек сиротами. Не понимаю, как люди, убивающие чужих детей, могут нежно любить своих собственных. Как будто тех, других, и не было.

Луна вышла из-за облака, и ее свет проник сквозь прутья решетки в камеру. Пахло сгоревшей сальной свечой и сигаретным дымом.

– Ну, я должен идти, – сказал священник, тяжело вставая.

Заклученный поднял на него глаза:

– Не могли бы вы навестить меня в тюрьме, хотя бы один раз?

– Постараюсь чаще, сын мой. А пока – прощайте.

Священник постучал, и дверь открылась. Двумя секундами позже ключ со скрипом повернулся в замке. Заклученный сидел неподвижно. Час. Два. Три. Серые лучи первого утреннего света упали на его бледное, спокойное лицо.

Еще через несколько часов началось его пожизненное тюремное заключение – во имя народа.



## Саид Мариб, старый египтянин

– Значит, вы хотите знать, как все это тогда было, – сказал Саид Мариб, старый египтянин, расстелив в тени палатки толстый ковер из черной козьей шерсти и жестом пригласив молодых людей располагаться. Это были два туриста, которые отдыхали на побережье Средиземного моря и решили совершить на машине небольшое путешествие в глубь Синайского полуострова. На обратном пути они потеряли занесенную песком дорогу, довольно долго плутали по пустыне и очень обрадовались, когда встретили у скалистого плато старого кочевника, который, согнувшись под тяжестью большой вязанки хвороста, направлялся к палаткам, похожим на черные горбы, выросшие на желтом пустынном песке. Перед палатками несколько женщин занимались своей обычной повседневной работой, рядом дети играли с двумя собаками, которые, увидев старика, замахали хвостами и с радостным лаем бросились ему навстречу.

Отдав женщинам хворост, Мариб указал на горизонт и объявил, что приближается песчаная буря и путешественникам лучше переждать ее у него, а потом он покажет им, как выбраться на побережье. И хотя пассажиры джипа не видели на горизонте ничего, кроме знойного марева, они согласились сделать остановку у гостеприимных кочевников, тем более, что старик пообещал, что

через час буря уже пройдет. Жаль, что оба его сына, Хассан и Мехмет, сейчас на пастбищах со стадами коз и овец и вернутся только к вечеру. Между хозяином и гостями завязался непринужденный разговор, который последние, находясь под впечатлением множества разбитых танков, увиденных в пустыне, вскоре перевели на арабо-израильские войны. Как объяснить, что такой небольшой народ, словно легендарный Давид, трижды смог победить мощного арабского Голиафа?

Они расположились на ковре, и одна из женщин обнесла их горячим, очень сладким мятным чаем в плоских пиалах.

– Значит, вы хотите знать, как все это тогда было, – повторил Саид Мариб, старый египтянин, и, покачав головой в когда-то белом тюрбане, продолжал тихим голосом: – С тех пор прошло много времени, я стал старше и мудрее, но все равно не могу объяснить, почему все случилось именно так. Один Аллах знает это. Наши войска храбро сражались, мы не были трусами. Но против воли Аллаха человек бессилён. В то время происходили удивительные вещи, и иначе, как чудесами, их не назовешь. Вы этому не поверите, как не хотят сейчас верить наши сыновья, хотя они хорошие сыновья – чтят законы Мусы<sup>20</sup> и священного Корана, ниспосланного нашему пророку Мухаммеду – мир с ним, и уважают родителей. Не только я видел эти чудеса. Вот что рассказали мне два моих брата, участвовавшие во второй войне в 1956 году.

Наших было значительно больше – несколько сотен хорошо вооруженных солдат, против них – жалкой кучки израильтян, едва ли полсотни. Но неожиданно за ними появилось огромное, занимавшее все пространство до горизонта, войско в белых одеждах. Наших солдат словно парализовало, они не могли сражаться, а таинственное войско, не сделав ни единого выстрела, исчезло. Потом, в плену, мой брат пытался узнать у победителей, что это были за солдаты во всем белом, но израильтяне ничего не видели. Это Аллах послал к ним своих ангелов.

Слушатели не поверили рассказу, однако, учитывая приближающуюся песчаную бурю, решили не спорить со стариком. Но тот уже давно прочел их мысли по глазам. В принципе, он и не ожидал другой реакции и поэтому, глядя вдаль, спокойно продолжал:

– Да, много чудес произошло по воле Аллаха, и это выше нашего понимания. Со времен маккавейских войн<sup>21</sup> государство Израиль исчезло с географических карт<sup>22</sup>. И вот спустя две тысячи лет, в 1948 году вашего летоисчисления, осуществилась надежда разбросанных по всему свету евреев, и исполнилась воля Аллаха, которую возвестил один из его пророков. «От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя». А Иеремия, о котором, правда, не упоминается в священном Коране, но которого мы чтим, как и всех других пророков, – посредников между Аллахом и его слугами, сказал: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его... И соберу остаток

стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их». В древних письменных источниках наших предков говорится, что Ханаан был цветущей страной, в которой текли реки из меда и молока. Но с того дня, когда Иса (Иисус), проповедник любви, умер на кресте, там перестали идти живительные дожди, дождь ранний и дождь поздний. Превратившаяся в пустыню ханаанская земля оставалась бесплодной до начала нынешнего века, когда вновь начал выпадать дождь. Уровень грунтовых вод поднялся, и вернулось плодородие – снова, как две тысячи лет назад, колосятся поля и цветут сады. «Геологическое чудо», – говорят ученые. Но верующие знают лучше – Аллах снял проклятие с этой земли, как и было предсказано, ибо Он верен Своим обетованиям.

Саид Мариб, старый египтянин, взглянул на слушателей. Те сидели, опустив глаза, и кочевник с грустью подумал: «Да, они мне не верят. Но ведь никто, кроме меня, не расскажет им правду. Я уже чувствую первые признаки бури. Они достаточно умны, чтобы не уйти, как это делают мои сыновья и их друзья, едва я начинаю им об этом рассказывать. Наша молодежь хочет ненавидеть – они не могут забыть, что Исмаил, первородный сын и законный наследник нашего прародителя Ибрахима, был изгнан в пустыню<sup>23</sup>. Но ненавидеть легче, чем подчиниться воле Аллаха».

Сильный порыв ветра заставил мужчин податься и войти внутрь палатки. Собаки и дети

испуганно сгрудились вокруг старого бедуина, а женщины ловкими руками быстро зашнуровали вход. Внезапно тишину пустыни разорвал протяжный, воющий звук. Сверху, через дырочки в потолке палатки, заструился песок, и на полосатом ковре стали расти желтые пирамидки. На какое-то мгновение у обоих туристов перехватило дыхание, но тут послышался спокойный голос старика, который, прикрыв нос и рот концом тюрбана, продолжал свой рассказ, не обращая внимания на разбушевавшуюся стихию:

– В первой войне, весной 1949 года, израильтяне были еще слабы и плохо вооружены, но все-таки одержали над нами победу. В мае к востоку от Иордана, где в это время никогда не бывает дождей, прошла ужасной силы гроза. Говорили, что она была радиоактивной. Наши солдаты не хотели умирать и отступили. Я тогда попал в плен и услышал от одного раввина, что все это произошло так, как описано в первой книге Царств: «Но Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем».

Во время второй войны, в 1956 году, израильтянам потребовалось всего лишь пять дней, чтобы дойти до Суэцкого канала. Аллах обещал Ибрахиму, нашему прародителю, что ему будет принадлежать Иерусалим. Но евреи тоже называют Ибрахима своим прародителем. К какому же из двух народов, происходящих от него, относится это обещание? Наши люди, и мои сыновья

в том числе, считают, что к нам, арабам, потому что Исмаил, от которого мы ведем свой род, был первенцем. Но теперь Иерусалим принадлежит израильтянам, и многое говорит в их пользу. Наверное, в один прекрасный день мы должны наконец стать братьями, чтобы сообща владеть наследством. Как это произойдет? Я не могу себе этого представить. Но для Аллаха нет ничего невозможного. Неисповедимы пути Его, и никому не доступен промысел Его.

Перед второй войной, в 1956 году, и третьей войной, в 1967 году, мы, мусульмане, много нагрешили. Мы пренебрегали заповедями священного Корана, который учит, что каждый человек имеет право жить на этой земле. В нем записано: «Нельзя убивать жизнь – Бог создал ее неприкосновенной». И еще: «Нельзя посягать на свободу человека, на каком бы языке он ни говорил, какую бы религию ни исповедовал, к какому бы народу ни принадлежал». В нашей религии убийство человека считается одним из тягчайших грехов. Насер, президент тех лет, нарушил эту заповедь, когда 27 мая сказал: «Это будет великая война, цель которой – уничтожение Израиля!» И четыре дня спустя: «Пришло время стереть Израиль с лица земли». А Шукейри, командующий палестинской армией, объявил на следующий день, 1 июня: «Я уверен, что ни один израильтянин не останется в живых». Арабы хотели уничтожить всех израильтян, не только солдат. Говорили, что стариков и женщин с детьми загонят в море и утопят. Поэтому Аллах

отвернулся от нас. После поражения вспоминать об этих угрозах уже не хотели и даже начали говорить, что ничего подобного вообще не было. Но евреи записали выступления президента Насера по Каирскому радио на пленку и дали прослушать иностранным журналистам. В то время, когда мы внимали голосу шайтана<sup>24</sup>, наши враги шли в бой с именем Господа. Лишь спустя годы, когда мы пришли со стадами к их границе, узнал я об этом и запомнил слова, которые передавало Израильское радио после объявления о начале войны: «Слушай, Израиль! Сегодня выступаете вы против врагов. Пусть тверды будут сердца ваши, и пусть неведом им будет страх! Ибо Господь, Бог ваш, с вами, чтобы помочь вам!» Я видел их газеты, в которых было написано, что они победили с помощью Господа воинств. И это действительно так, потому что мы неминуемо должны были разбить их, разбить наголову. Мы имели трехкратное превосходство в танках, боеприпасах и других вооружениях, и все же, несмотря на это, нас разогнали, как стаю шакалов. В Израиле жили два с половиной миллиона человек, в наших арабских государствах – 110 миллионов. На Синае стояли семь наших дивизий, плюс 700 танков, да еще 200 – у Эйлата. Ракетные базы нам построили русские. И в течение ста часов все было уничтожено, захвачено, выведено из строя!

Много чудес явил Аллах, помогая израильтянам. Чем, если не чудом, объяснить неожиданную песчаную бурю, которая обнажила перед

ними огромное минное поле, на котором должны были подорваться их танки и машины? Над этим полем прошло много песчаных бурь, но ничего подобного не случилось. Или огненный столб, который возник перед израильской танковой колонной и повел ее в обход другого минного поля? Или страшный грохот взрывов в горах, который все нарастал и нарастал до тех пор, пока наши солдаты, охваченные ужасом перед этими несмолкающими раскатами, в панике не побежали со своих позиций. В результате кучка израильтян заняла без единого выстрела горные укрепления, считавшиеся неприступными.

Всякий раз, задумываясь над этими удивительными событиями, я убеждаюсь, что человеческая мудрость имеет границы, и мне не остается ничего иного, как подчиниться воле Аллаха.

Сейчас в пустыне тихо. Но надолго ли? Последняя война еще предстоит Израилю. Не мы будем вести ее, не арабы, а народ, который, по пророчеству, придет с севера. Но последнее слово всегда за Аллахом – он сокрушит Гога и Магога так же, как сокрушил наши до зубов вооруженные армии. Тогда, наконец, наступит мир.

Между тем буря, яростно рвавшая палатку и огненным дыханием вдувавшая туда через щели раскаленный песок, прекратилась так же внезапно, как и началась.

Старый кочевник вышел со своими гостями, готовыми в дорогу, из палатки и перед тем, как сесть рядом с водителем на переднее сидение джипа, проводил взглядом последние песчаные



облака, уносившиеся дальше на восток, над цепью невысоких скал. Завелся мотор, и минут через десять они уже были у шоссе, ведущего к побережью.

Европейцы сердечно поблагодарили старого египтянина за гостеприимство и помощь, а тот попросил не забывать его рассказ и при каждой возможности передавать его дальше.

Он повернулся и большими шагами пошел назад.

<sup>1</sup> Галиция – неофициальное название южных районов Речи Посполитой (здесь и далее – примечания переводчика).

<sup>2</sup> Чортков – город в Галиции.

<sup>3</sup> Хасид – приверженец мистико-экстатического направления в иудействе, основанного в XVIII в. проповедником-чудотворцем Израилем Бештом. Один из основных принципов хасидизма – служение Богу в веселии и радости сердца. В Галиции хасиды составляли основную массу верующих евреев.

<sup>4</sup> *Silberstein, Abendrot, Diamant, Morgenstern, Goldberg, Taube, Marschall, Perle, Rosental, Mandelbaum* (нем.) – соответственно серебряный камень, вечерняя заря, бриллиант, утренняя звезда, золотая гора, голубь, маршал, жемчужина, розовая долина, миндальное дерево.

<sup>5</sup> Господь воинств Саваоф – одно из имен Божиих в Библии. Под «воинствами» понимаются силы небесные (Ангелы и светила) и земные – души верных, принадлежащие к народу Божию.

<sup>6</sup> *Gurkensalat, Pulferbestandteil, Türkischgelb, Honigkuchenferd* (нем.) – соответственно салат из огурцов, составная часть порошка, турецко-желтый, медовый пряник в форме лошадки.

<sup>7</sup> *Grün, Glaser, Blumental* (нем.) – соответственно зелень, стекольщик, цветочная долина.

<sup>8</sup> *Schwertbaum, Wiesenblume, Birkenhain* (нем.) – соответственно дерево-меч, луговой цветок, березовая роща.

<sup>9</sup> *Zimbalist, Geigenbauer, Tuchmacher, Glatteis* (нем.) – соответственно цимбалист, скрипичный мастер, суконщик, гололедица.

<sup>10</sup> *Kirschkuchen* (нем.) – вишневый пирог.

<sup>11</sup> *Posen* – немецкое название польского города Познань.

<sup>12</sup> *Danzig* – немецкое название польского города Гданьск.

<sup>13</sup> *Wartegau* – немецкое название области на западе Польши, прилегающей к реке Варты.

<sup>14</sup> *Treppengelände* (нем.) – лестничные перила.

<sup>15</sup> Кадиш – заупокойная молитва.

<sup>16</sup> С 1618 по 1648 годы.

<sup>17</sup> «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». – Кредо иудаизма, формула признания единого Бога (Втор. 6:4).

<sup>18</sup> Согласно иудейским ортодоксальным обычаям, еврей, принявший другую (в данном случае христианскую) веру, оплакивался своими родными, как умерший, и по нему читали «кадиш» – заупокойную молитву.

<sup>19</sup> Армия Крайова (польск.) – во время Отечественной войны действовала под руководством польского эмигрантского правительства в оккупированной Польше. Руководство Армии Крайовой организовало Варшавское восстание в 1944 г.

<sup>20</sup> Муса – Моисей. Мухаммед, основатель ислама, провозгласил себя продолжателем дела пророков прежних эпох, в том числе Мусы (Моисея) и Исы (Иисуса Христа). Многие законы пятикнижия Моисеева (по-арабски «ат-Таура», от др.-евр. «Тора» – учение, закон) были признаны обязательными и для мусульман.

<sup>21</sup> Маккавейские войны (167–130 до Р. Х.) – войны восставших иудеев против греко-сирийского ига, завершившиеся воссозданием Иудейского царства под властью династии Маккавеев.

<sup>22</sup> На самом деле еврейское государство прекратило свое существование лишь в 70 г. после Р. Х., когда, в результате Иудейской войны против Рима, войска полководца Тита разрушили Иерусалимский храм. В 132–135 гг. после Р. Х., однако, вновь последовало восстание иудеев под руководством Бар-Кохбы.

<sup>23</sup> См. Быт. 21:9-21. К эпизоду изгнания Саррой Агари и ее сына Исмаила позднейшие мусульманские толкователи приурочили начало вражды между арабами – потомками Исмаила, и евреями – потомками Исаака. В Коране именно Исмаил считается главным законным наследником Авраама (Ибрахима) – см. Коран, сура 2, 113–123.

<sup>24</sup> Шайтан (араб.) – сатана.